

Мандельштам 0.3

16.1.91

«ВСЕХ ЖИВУЩИХ ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДРУГ»

Александр КУШНЕР

ЭТОТ автор самых сложных, изощренных, головокружительных стихов в нашей поэзии, создатель небывалых и неотразимых метафорических и ассоциативных рядов, любимец дотошных комментаторов может быть назван центральной фигурой на поэтическом Олимпе XX века (хорошо Олимп, боги которого ходили «в проклятом резиновом пальто и стояли в очередях за селедкой и мукой) еще и главным образом потому, что невозможно назвать другого поэта, который бы так сохранил и приумножил в бесчеловечных обстоятельствах верность человеку, как он.

Эта им вписана в нашу поэзию нежная и трогательная нота человеческой беспомощности, незащищенности. Была ли она ему навязана, продиктована безжалостным временем? Лишь стихи. Невозможно вложить в поэзию то, чего в нем не было бы от рождения, нельзя заменить поэту сердце. Он родился, он пришел с этой нотой.

Как кони медленно ступают,
Как мало в фонарях огня!
Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня...

Эти стихи 1911 благополучного года написаны как будто в предчувствии грядущей бедности переизданы «Горький человек».

И нежный лоб руки чужой...
О как не хочется мне объяснить то, что не нуждается в объяснении, говорить о правде ощущения, чувстве беспомощности, любви и тревоги! Я и не буду этого делать, напомню только еще две строки — из воронежских стихов 1935 года:

У чужих людей мне плохо спится,
И своя-то жизнь мне не близка...
Можно сказать, время озвучило эту ноту, своей жесткостью и безжалостностью придало ей новый, горький, мучительный смысл. «И снится сонный меня б сопеть могла...», «Потому что не волк я по крови своей».

В эпоху, провозгласившую «уничтожение врагов», непримиримость, классовую борьбу главной доблестью и основным своим содержанием, голос Мандельштама потому и был безошибочно зачислен во вражеские, подлежащие уничтожению, что вызвал к «жалости и милости», оказался хранителем и защитником самой презираемой ценности в стране — ценности человеческой жизни.

Разумеется, было бы нелепо и странно сводить к этому всю поэзию Мандельштама. Да и как классифицировать в какую графу занести «филатовый пролет», который «газель перебежала», и «черноголового смывоч», и «танянок крохотные корзинки», и «флейты греческой мяты и йоту», и «косарей умалишенных» на волжских откосах, и многое, многое другое?

Человечность вовсе не означает размягченности, слезливости, «дущевности» — ничего подобного! Мандельштамовский стих «звонит» так же ярко и сильно, как «Дантовых девять атлетических дисков», в нем разработаны новые, небывалый поэтический способ мышления, «свет разломанных в луч скоростей». «Прыжок. И я в уме» — вот о чем надо было бы написать, но оставило это для другого раза.

Писать о человечности Мандельштама, вообще пользоваться этим затасканным словом, давно потерявшим смысл в наших глазах, рискованно, почти невозможно. И если я осмелюсь произнести его, то лишь потому, что другого не придумано, что слово не виновато в своей затертости и захватанности, стоит потрудиться над тем, чтобы вернуть ему смысл.

У каждого настоящего поэта, как у хищного зверя, — да простит мне читатель эту скользкую аналогию, но воспользоваться ею помогают сами поэты («Мне на плечи кидается веководав...», «Я пропал, как зверь в загоне») — есть своя территория, на которой он чувствует себя полноправным хозяином. Такой территорией для Ахматовой, например, была прежде всего любовная лирика, для Пастернака — природа с ее «плачущим садом» и «грозовой, моментальной навес», для Цветаевой — ее одиночество в мире, «где жить нельзя».

Такая область, сферой, главным интересом для Мандельштама был человек и сочувствие ему, обреченно жить в невероятных условиях «советской ночи».

Певец Средиземноморья и мировой культуры, «тягести недоброй» готических соборов и «знаменитой Федры в старинном многогрудном театре», готовый расслышать в родном языке «чужеземных арф родины», сумел протянуть руку нуждающемуся в ней, оказался способным на блоковский жест, но в куда более страшных обстоятельствах, по сравнению с которыми «летающие миры», «пустая Вселенная», «жужжащий, торопящийся волчок» из стихов его старшего современника кажутся недостижимым раем или, выражаясь сегодняшним языком, домом отдыха, санаторием по бесплатной профсоюзной путевке.

Так бывает в поэзии: все идет самопожертвования, подвига, героического акта от громкоголосых и «красивых», от создателей лирического героя, наконец, от «небожителей», высочайших певцов, а помощь, самая горячая и порывистая, приходит с другой стороны, от того, кто «по пояс в таком снегу» бредет «с чужого полустанка», у кого «поллеба в валенках в ногах».

Эта человечность, это пушкинское понимание ценности обычной жизни, выраженное во французской поговорке: «Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах», — высказанное классиком не только в письме к Н. И. Кривцову, но и с такой усвоенностью в стихах 30-х годов, по плечу лишь большему поэтам: маленьким обычно притягивает все грандиозное, выходящее из общего ряда, высокое, неземное...

Мандельштам учился у Пушкина высокому и трудному равенству с

обычным человеком и еще в стихах 1913 года вспомнил «чудлака Евгения», героя двух пушкинских поэм, «самолюбивого, скромного пешехода». Через десять лет он вернется к этому мотиву:

Я, рядовой седок,
Укрывшись рыбным мехом,
Все силось полость застенуть.
И, Боже мой, как по-детски непосредственно и достоверно звучит его жалоба: «Не поддается петелька тугая, все время валится из рук!» Пришла, данная им «четвертому сословью» в стихотворении «1 января 1924 года», пройдет через всю его жизнь, через все позднее творчество, и не только на тематическом, но, что куда важнее, на интонационном уровне: «Я все отдаю за жизнь — мне так нужна забота...», «Чего тебе еще? Не тронут, не убит...», «После бани, после оперы, — все равно, куда ни шло, — бесполое, последнее трамвайное тепло...», «Хочешь, валенки сниму, как пушинку, подниму...», «Я — трамвайная вишенка страшной поры и не знаю, зачем я живу...» «И до чего хочу я разыграться, разговориться, выговорить правду...».

Тема, случается, врет, интонация — никогда. Ее не подделать, не сочинить, не придумать, интонация — душа стихотворения.

Иногда приходится слышать упрек нашей поэзии, в том числе и поэзии 60-х годов, якобы воспевающей «маленького человека»: «...Голова у незаметного героя действительно не кружилась... Но вот парадокс: такой герой оказался необыкновенно удобен и для власти имущих... Годы стагнации оказались весьма благоприятными именно для маленького, незаметного человека».

Не могу согласиться с В. Кривулиным. И дело не в том, оказались ли не оказались 60—70-е благоприятными для «маленького человека», — просто не следует понятия, относящегося к прозе, переносить на поэзию.

Существует старый, как человеческая неблагодарность, соблазн стаскивать поэтов, противопоставлять их друг другу: хвала одного, порицание другого. Говорить о Мандельштаме, друг другу: хвала одного, порицание другого. Говорить о Мандельштаме, а тут же рядом возникает тень другого прекрасного поэта, но с более благополучной биографией или, скажем так, тоже сведенного в могилу, но в ином возрасте, при иных обстоятельствах и по сравнению с Мандельштамом все-таки баловня судьбы да еще и лауреата.

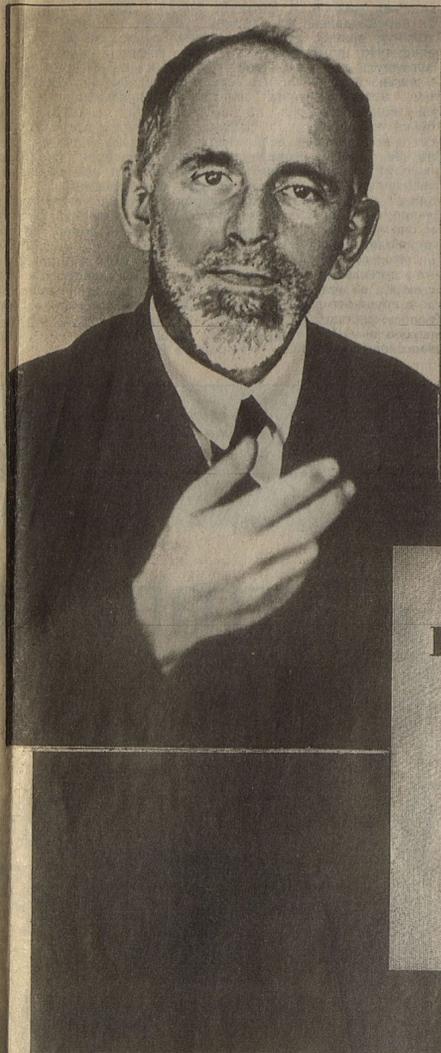
Постараемся не соблазниться пошлым сравнением, не задеть другого, тем более что и не о биографии мы говорим, но о стихах. «Не сравнивай, живущий несравним».

В недавно опубликованных воспоминаниях З. Н. Пастернак читаем: «Как-то Мандельштам пришел к нам на вечер, когда собралось большое общество. Были грузины, Николай Тихонов, многие читали наизусть Борини стихи, и почти все гости стали просить читать самого хозяина. Но Мандельштам перебил и стал читать одно за другим свои стихи... Он был как изобалованная красавица — самолюбив и ревнив к чужим успехам».

Грустно читать об этом вечере с грузинами, больно за Мандельштама. Не самолюбием и не ревностью к чужим успехам объясняется такое поведение, но жаркой обидой, страданием художника, не признанного словесным стадом тугих на ухо современников.

А мог бы жизнь
просвистать скворцом,
Засть ореховым пирогом...
Да, видно, нельзя никак.

Замечательно, что эта решимость исходит не от сильного, не знающего сомнений сверхчеловека, а как раз наоборот, от колеблющегося, неуверенного в себе, жалующегося сладкоестки («Никто не жалуется — только вы и Овидий жалуетесь», — говорила ему Ахматова), не самого смелого, не самого решительного! Сколько их было, железных людей, похожих на творцов, героев, оснащенных всеми мужскими доблестями... А стихи о «крем-



Эти фотографии сделаны на юбилейной выставке, открывшейся в Государственном литературном музее.

К 100-летию со дня рождения Осипа Мандельштама

«Маленький человек» в поэзии — нечто невозможное, если речь идет о поэзии, не о повествовании в стихах! Поэзия говорит о жизни и смерти, о любви и страхе, о зимнем снеге и морской волне, о трагедии одиночества, о Боге, о стране и времени, о смысле бытия, а никак не о «маленьком человеке».

Но поэт при этом не проводит черту меж собой и другим человеком, эту романтическую манеру, «понимание жизни как жизни поэта», «возвращая себе» не только Мандельштам, но и Пастернак, утверждавший: «Все-го дороже мне жизнь, тонущая в жизни окружающих, похожая на них». «А между тем только в рядовой жизни можно найти подлинное счастье и атмосферу для работы».

«Рядовой седок», «рядовая жизнь»... Нет, не о «маленьком человеке» писал Мандельштам, хотя, если следовать логике В. Кривулина, получается, что «Жил Александр Герцович...» — это как раз стихи о «маленьком человеке». На самом деле это стихи о «глиняных обидках», о музыке, с которой «не страшно умереть», о том, о времени, человеческой незащищенности и верности своему делу. «Нам с музыкальной-голубою не страшно умереть...» — это сказано поэтом прежде всего о самом себе.

Да, Мандельштам помнил о «жаркой гоголевской шубе», сорванной ночью на площади с плеч старшего комсомольца Акакия Акакиевича, да, он требовал «памятников для Зоценко по всем городам и местечкам Советского Союза или по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Лернем Сад», да, он «у всех лотков» «облизывал губы», Москва-река для него пахла «почтовым клеем», а сам город казался «путаной салата» — недаром же в петербургских салонах 10-х годов его обвиняли в «бездуховности». Весело наблюдать, как это слово обрело сегодня вторую жизнь под перьями партийных и беспартийных журналистов!

Между тем дух живет в поэтическом слове — прежде всего, и Богу вряд ли милы высокопарные рифмованные спекуляции на божественные темы: наверное, если Он вообще любит стихи, Ему куда милей, например, такое:

Держу в уме, что нынче
тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет,
Что возмужали дождевые черви
И вся Москва на яликах плывет.

Что такое человечность Мандельштама? Это его открытость, неспособность носить какую-либо маску (потому и погиб, что не обзавелся ею, ходил с открытым лицом), равенность, общность, близость, боязливость, переходящая в петушиную смелость, отсутствие какой-либо позы. С поэтом происходит все то, что и со всеми людьми: никаких льгот и привилегий.

И мы прощаем («что за дикое слово!») Мандельштаму его заблуждения, иллюзии, капризы, ложные шаги, «сталинские» стихи, потому что он, гениальный поэт, взвалил на себя рядовую, то есть самую трудную, судьбу, ни от чего не отказавшись, ни от чего не увилив.

«Маленький человек» в поэзии — не они увидели «тени страшные Украины, Кубани... Как в туфлях войлочных голытые крестьяне калитку стерегут, не трогая кольца», и не они, а Мандельштам в стихах о своей горькой участи не забыл сказать о раскученном мужике: «За стеной обиженный хозяин ходит-бродит в русских сапогах».

И не они, а он «взбрыкивал» в стихах, «стучал сапогами», пил «за военные астры», «за розу в кабине рольсройса», и не они, а он навсегда запечатлел страшную, подлую, притягательную и завораживающую неразбериху советской жизни 20—30-х годов, «свист разрывающей марли да рокот гитары карболовой», «халтурные стены московского злого жилья» — и «разлинованные стадионы», и «светоговорильни с брешешками отдыха, культуры и воды», где «играют Шуберт в расструбы рупоров».

То же продолжалось и поражает в воронежских стихах — соседство отчаяния и радости, «гробовой доски» и «световой паутины», «бородавчатой теми» и «рукопашной лазури шальной».

Не разнять меня с жизнью, — ей снится
Убивать и сейчас же ласкать...
Все это и называется прекрасными стихами, которые пишется непреднамеренно, безоглядно, продиктованы волнением, страстью, слезами, судорогами, печалью и счастьем жизни, наступают на улице, дома, в гостях, в ссылке, в беде.

«Бы здесь отдыхаете или работаете?» — надо слышать эту сладенькую, заговорщицкую интонацию в вопросе, с которым обращаются поэты друг к другу в наших «домах творчества». Они и в самом деле работают, тяжело трудятся над стихами. Мандельштам ответил на этот вопрос в «Четвертой прозе»: «Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!»

Готовность разделить с обычным человеком его трагическую судьбу в кровавом и страшном мире, теньность, нащелпанная себя в человечности, выделают Мандельштама в маленькой толпе прекрасных поэтов, топтавшихся на узкой площадке первых трех десятилетий нашего темного века. Беззащитность, бесхитрость, обреченность на гибель «с гурьбой и гуртом» вызывают тот особый, не сравнимый ни с чем прилив нашей нежности к нему, который может быть назван еще одним простым и старомодным словом — благодарностью.

Но вот что еще необходимо сказать: человечность, о которой здесь идет речь, вовсе не означает упрощения стиха, его смирения, унижения — наоборот! В отличие от некоторых соотечественников Мандельштам не поступался своим искусством, дивной сложностью ветвящейся поэтической речи, он и шага не сделал навстречу государственным требованиям понятности и доступности. Не в потакание неразвитому слуху заключается демократизм поэзии. И духовность не сводится к разговору о высоком и надмирном. И передовая критика встает в тупик перед извилистостью и текучестью поэтической речи, а официальная — перед ее неуступчивостью. И все зло мира, как бы огромно и стовечно оно ни было, ничего не может сделать с «тайнственно-родным» стихом.